
Марина Ветрова ✦ Виктория Шнайдер
Развод с предателем.
Ты раздал мои миллионы, а шейх подарил мне новую жизнь!

Виктория Шнайдер
Марина Ветрова

Развод с предателем. Ты раздал мои миллионы, а шейх подарил мне новую жизнь!

https://litres.ru/74702237
SelfPub; 2026

Аннотация

Двенадцать лет я верила мужу и копила на спокойную старость. А он однажды поднял бокал за моё имя и объявил всем, что потратил мои сбережения на благотворительность. Заодно заложил доставшуюся от матери гостиницу.

Мне аплодировали за собственное разорение!

Я уехала в Марокко работать переводчицей, надеясь начать сначала. Но заказчиком оказался могущественный шейх Халид, которому мой муж задолжал огромные деньги.

Шейх приехал за возмездием, а нашёл женщину, когда-то накормившую его без гроша.

Теперь бывший требует моего возвращения, а я впервые решаю сама.

Смогу ли вернуть дом, наказать обманщика и поверить человеку, привыкшему покупать всё?

А главное, сумею ли снова выбрать себя?

Содержание

Глава 1. Тост за моё имя 5
Глава 2. Дом, которого больше нет 11
Глава 3. Счёт чужой жизни 17
Глава 4. Бумаги с чужой подписью 23
Глава 5. Условия золотой клетки 30
Конец ознакомительного фрагмента. 33

Марина Ветрова, Виктория Шнайдер Развод с предателем. Ты раздал мои миллионы, а шейх подарил мне новую жизнь!

Глава 1. Тост за моё имя

Я принесла на пир Толи два пирога с капустой и последнюю банку вишнёвого варенья — ту самую, которую берегла на «особый случай». Особых случаев у нас с Толей не случалось давно, а пузатая банка всё стояла в тёмном углу погреба, синела стеклом и ждала. Ну вот, подумала я, дождалась. Муж окружил квартал, наконец-то устроил людям праздник — не привезти ли на такое варенье?

Дверь бального зала — ну, как бального, бывшего кинозала на улице Садовой, куда Толикины спонсоры поставили новые кресла, — была распахнута настежь. Из неё валило тепло, запах жареной баранины и дух чужого парфюма.

Я вошла, прижав к груди салютовку с пирогами, и первое, что увидела, — моего мужа. Толя стоял на маленьком сцене в новеньком бежевом костюме, поднял бокал и уже открыл рот. Я замерла у двери. Хотелось подать ему знак — мол, я здесь, я с пирогами, — но микрофон в его руке ожил, и зал притих.

— Дорогие мои! — голос у Толи был сегодня особенно мягкий, бархатный, такой он бывал только когда просил или благодарил. — Люди часто спрашивают меня: Толя, откуда силы? Откуда средства? Дом престарелых обшил, детскую площадку поставил, старушкам Садовой — по продуктовой карте на зиму. Не скрою, говорят мне: nouiltin бы так!

Тут он был прав, тут слушали. Зал одобрительно загудел. Я узнала в первом ряду Нину Петровну со второго этажа, у которой я три года подряд бесплатно держала комнату, пока у той суд шёл с сыном. Рядом сидели Клавдия Семёновна, которой я всю зиму носила суп, и её внучок со львом на свитере — свитер тоже был мой, вязала ночами. Я стояла с пирогами и чувствовала себя как в детстве, когда приносишь в класс букет учительнице, а все оборачиваются.

— А я им отвечаю, — продолжил Толя, и глаза его блеснули. — Всё это — на деньги моей жены.

Сначала я не поняла. По-честному — не поняла. Услышала слово «жена», тепло хлынуло под рёбра, я даже шаг сделала вперёд. Он сказал — жена. При людях. За двенадцать лет он при людях меня дважды вспоминал, не больше.

— Да-да, не удивляйтесь! — Толя развёл руками, и зал засмеялся, будто это был анекдот. — Люба, свет мой, копеечка моя! Она копила. Всё копила. На старость копила, на «чёрный день» копила. Гостиницу свою ненаглядную пускала по кругу, с постояльцев три шкуры... А я что? Я сказал: зачем копить на старость, когда можно жить сейчас? Взял, милые мои, и взял для вас кредит под её гостиницу. Заложил — как положено, все бумажки подписаны, сама подписывала! И накопления её вычистил. Все, до копеечки. И знаете что? Не жалко! Потому что каждая копеечка пошла в дело — в вас!

Он поднял бокал и глянул поверх голов — куда-то к дверям, но меня будто не увидел. Или увидел. Или именно поэтому и сказал.

— Так поднимем же бокалы, друзья, за мою жену! За Любу! За её старость, которой не будет, — потому что старость теперь у вас!

Зал грохнул. Люди вскакивали, кричали «за Любу», стучали вилками по стаканам, Нина Петровна всхлипнула и прижала ладони к щекам. А я стояла в дверях с двумя пирогами и банкой варенья, и пол медленно уходил у меня из-под ног, как палуба на барже, на которой я в девяностых переправляла стиральную машину для мамы.

Сама подписывала. Вот что мне стучало в виске. Три года назад я подписывала бумаги на ремонт — он принёс их вечером, сидел у меня за стойкой, в свитере с катышками,

тыкал пальцем: тут, тут и тут, Люба, это обычное, подрядчики оформляют. Он тогда гладил меня по плечу: умница ты у меня, хозяйка. Умница. Подписала на разорение собственной рукой.

Гостиница — мамина гостиница, шесть комнат, в которую я двадцать лет вкладывала руки, ноги и позвоночник, мыла, стелила, красила рамы по весне, — заложена. Накопления — двенадцать лет, я откладывала с каждого гостя, даже с тех, кто жаловался на холодную воду, — вычищены. А он стоял на сцене в бежевом костюме, котором я никогда не видела, и аплодировал мне стоячим залом.

Пироги стали вдруг неимоверно тяжёлыми. Я опустила салютовку на ближний стул у двери — осторожно, не грохнула, рука не дрогнула, — и пошла к сцене. Люди расступались, улыбались мне, кто-то совал руку, кто-то кричал: «Люба! Молодец какая, всё отдала!» Молодец. Отдала.

— Толя, — сказала я, когда оказалась рядом с его локтем. Голос прозвучал ровно, даже удивила себя. — Это правда? Ты заложил гостиницу?

Он наклонился ко мне, и на секунду я увидела его глаза — не сцену, не бархат, а глаза, каким они бывали дома, когда он просил у меня деньги «до пятницы». Быстрые, беглые, виновато-наглые.

— Люба, свет мой, — сказал он в микрофон, не отстраняясь от него, и весь зал слышал. — Не при людях, а? Потом объясню. Там всё чисто, всё по документам. Ты же сама...

— Сама, — сказала я. — Сама подписала.

— Вот и замечательно! — Он повернулся к залу, разводя руками: мол, семья, милые сердца, семья решает вместе. — Люба подтверждает!

И зал зааплодировал снова. У меня в этот миг было одно-единственное чувство, ясное, как ведро холодной воды: я стою посреди чужого праздника, который я оплатила, и мне аплодируют за то, что меня обокрали. И всех этих людей — Нину Петровну, Клавдию Семёновну, льва на свитере — кормил я. Годами. Своими руками, своим супом, своими ночами. А слава досталась ему.

У сцены стоял накрытый стол. Я взяла оттуда бокал — не глядя, что там, — и он сам, Толя, обрадовался: «Люба хочет сказать слово!» Подал мне микрофон, тёплый от его руки, обнял меня за плечи. Я почувствовала запах его одеколона, нового, дорогого, и это было хуже всего.

— Спасибо, — сказала я в микрофон, и зал притих. — Спасибо всем. Пирог с капустой у двери, режьте сами. А варенье я заберу. Оно всё-таки моё. Как, я теперь знаю, и всё остальное.

Я взяла банку с антресоли у гардероба — куда отнесла её по дороге к сцене, сама не помня как, — и вышла в ночь. Моросило. Фонарь над входом мигал. За спиной, сквозь распахнутую дверь, рявкнуло: «За Толю!» — и заиграла музыка.

Я стояла на тротуаре, прижав к груди холодную банку,

и понимала, что домой мне идти некуда. Дом — заложен. Деньги — вычищены. Муж — на сцене.

А в сумке у меня лежала распечатка контракта на работу переводчицей за границей. Я брала её на всякий случай, для смелости, чтобы было куда бежать. Тогда, неделю назад, я в неё не верила.

Верить пришлось.

Глава 2. Дом, которого больше нет

Банк на Первомайской открылся в девять. Я пришла в восемь сорок и сидела на холодной скамейке возле входа, прижимая к коленям свою банку с вареньем. За ночь банка перестала быть вареньем — стала доказательством. Стала всем, что у меня осталось.

Внутри меня встретила девушка с бейджем — Леночка, которую я три года поила чаем, когда она бежала на работу мимо гостиницы. Леночка посмотрела на экран, потом на меня, потом снова на экран. Так смотрят на человека, который умер, а сам ещё не в курсе.

— Люба Андреевна… вам лучше присесть.

Я не села. Я стояла и слушала, как чужим голосом перечисляют: закладная на гостиницу «У Лизаветы» — оформлена восемь месяцев назад. Кредитная линия — восемь месяцев назад. Страховка, поручительство, второй договор поверх первого — всё подписано. Моей подписью. Ровной, старательной, моей.

— Но я подписывала на ремонт, — сказала я. — Ро-монт. Крышу. У нас крыша текла.

— Здесь указано… — Леночка покрутила пальцем в воздухе, ища мягкое слово и не находя, — здесь указано всё.

Оказалось, Толя водил меня к нотариусу дважды. Первый раз — «оформить смету», второй — «переоформить стра-

ховку на кирпичный дом». В обоих случаях я честно читала верхний лист, а нижний, как объяснила Леночка, был другим. Я вспоминала его лицо за столом нотариуса — довольное, розовое, он даже подмигнул мне тогда: «Ну вот, жена у меня деловая, всё сама подписывает». А сам пальцем держал место, куда ставить роспись. Палец — заботливый, тёплый. Палец — как крючок.

Я вышла на улицу и позвонила в свой банк, тот, где с пятнадцати лет лежали мои накопления. Куда я складывала каждую сданную комнату, каждый банкет, каждый Новый год, отработанный на чужих застольях. Трубку взял робот, робот сказал, что счёт пуст. Робот не сочувствовал. Роботы, оказывается, тоже бывают мужчинами.

К двенадцати я дошла до гостиницы — своей, с синей вывеской, с геранью в кадках, которую я сама поливала шестнадцать лет. На крыльце сидел Толя. Не в дорогом пиджаке, как вчера, а в домашнем свитере, и ел пирог с капустой. Мой пирог. С той самой двери.

— Люба, — сказал он с набитым ртом, — ну ты не смей так на меня смотреть. Я всё объясню.

— Объясняй. У меня полдня свободных. Больше, наверное, никогда не будет.

И он объяснил. Час, наверное, говорил, и я слушала, а внутри было так тихо, как бывает в гостинице между сезонами. Он «решил вложиться в развитие». Он «создал бренд благотворительности». Через бренд — связи, через связи —

контракты, через контракты — огромные деньги, вот-вот, ещё чуть-чуть. Он говорил «мы»: «мы вложились», «мы рисковали», «мы почти у цели». Один раз оговорился — «я», — споткнулся и снова стал «мы».

— Марго говорит…

— Марго, — повторила я, и впервые это имя прозвучало вслух между нами. Он не испугался. Он только сжал губы, как человек, которого поймали на мелочи, а не на жизнь.

— Люба. Она в этом не виновата. Она специалист.

Она специалист. А я — sixteen лет у плиты. Я смотрела на его руки — на эти руки я наматывала шерсть, когда у него замёрзли в поездке пальцы, я держала их в обезболе, когда он порезался на даче. Теперь эти руки держали мой пирог и были чужими.

— Мне нужно войти домой, — сказала я. — За вещами.

— Понимаешь, — он отвёл глаза, — формально дом в залоге. Тебе лучше пока… не появляться без предупреждения. Нин Петровна звонила, спрашивала, будет ли благотворительная столовая по средам. Народ ждёт, Люба. Народ на тебя сейчас смотрит. Не позорь их.

Не позорь. Меня — позорить просили. Я подняла банку с вареньем и сказала спокойно, даже удивила себя:

— Знаешь, Толя, что самое страшное? Не то, что ты украл. А то, что я готовила для этих людей шестнадцать лет бесплатно, а тебе достаточно было объявить, что это за мой счёт, — и они аплодировали. Им было всё равно, чей хлеб.

Им был важен тот, кто встал со сценой.

Он даже не спорил. Он просто взял ещё кусок пирога.

Собрала я два чемодана — днём, пока он пошёл «объясняться Нин Петровне». Тёплое, рабочее, памятное. В третий, маленький, сунула распечатку того самого контракта. Аккомпанемент, гид-переводчик, три месяца, Марокко. Устроитель — какая-то фирма-посредник, клиент не назван, только подпись и печать с пальмой. Зарплата — смешная, но выше моей чистой гостиничной правды. Нужен срочно, вылет — через четыре дня. Недели назад я отложила лист в дальний карман: «Вот когда совсем прижмёт». Я думала, это гипотетическое «прижмёт».

Дорогу до аэропорта я вспомнила потом отрывками. Как Клавдия Семёновна отвернулась у остановки — не поздоровалась. Как Лев в свитере — тот самый, лев на свитере — прошёл мимо и сказал соседу: «Жёнушка-то его взбунтовалась, мешает доброму делу». Как я везла чемоданы на тележке, взятой у грузчиков, и грузчик, Ашот, ни слова не спросил — только положил мне в боковой карман булку, тёплую ещё. Одни — отворачиваются. Один — молча суёт булку. Люди делятся не на своих и чужих, оказывается. На тех, кто придёт на пир, и на тех, кто даст булку на дорогу.

В самолёте я впервые за двое суток уснула — проснулась от того, что стюардесса накрыла меня пледом. Плед. Меня укрыли, как ребёнка. Я заплакала в этот плед, тихо, в стенку, чтобы никто не видел, а потом вытерла лицо и попроси-

ла чай. Не потому что стало легче. Потому что впереди три месяца, а истерика — вещь на один раз.

Марракеш встретил меня жаром, криком и запахом — апельсины, специи, пыль, баранина на углях. Я шла с чемоданами по кривой улице, стучащей каблуками по камням, и чувствовала себя глупой русской бабой сорока одного года, которую обманул муж, а теперь весь мир научится. Водитель, присланный за мной, вёз меня молча, и уже на подъезде город разжался — показались белые стены, зелень, фонтан.

— Риад, — сказал водитель гордо, как говорят «Кремль».

Риад. Я думала, это гостевой домик. За воротами оказался дворец: мозаика, прохлада, фонтан в форме восьмиконечной звезды, и человек в белом — высокий, узкоплечий, с лицом, которое не улыбалось, — стоял посреди двора и ждал. Не меня. Так показалось сначала. Он ждал чего-то вообще.

— Люба Кузнецова, — сказал он вместо приветствия, и произнёс моё имя так, будто пробовал его на зуб. — Меня зовут Халид ибн Рашид. Ваш муж — мой должник. И мой мошенник. С этой минуты вы живёте здесь.

— Я здесь работаю, — поправила я. Горло было сухое, но голос не дрогнул. Маленькая победа, а я за неё уцепилась, как за булку Ашота.

— Вы здесь живёте, — повторил он ровно. — Работа приложится.

Он повернулся и пошёл через двор, и мне осталось либо стоять одной с чемоданами посреди чужого дворца, либо ид-

ти за ним. Я пошла. И уже тогда, на первых шагах, у меня в затылке тихо звякнуло: зачем этому человеку — богатому, властному, которому должны все, — я? Свидетель? Свидетелей возят в суд, а не селят во дворцах.

Банка с вареньем так и ехала сверху в моём чемодане. Я тогда ещё не знала, что она здесь пригодится. Не для доказательств.

Глава 3. Счёт чужой жизни

Ночью я не спала. Лежала на огромной кровати в западном крыле — меня туда поселила сухая женщина с лицом, похожим на сложенные руки, — и считала. Не овец. Деньги. Я всю жизнь умела считать быстро, как машинистка печатает: не глядя.

Гостиница — шесть номеров, двор с яблоней, тёткин дом, доставшийся мне по наследству и переписанный под «ремонт». Кредит — четыре года. Накопления на старости — счёт, который я пополняла с каждой сданной комнаты, с каждого банного гостя. Толя говорил: положи под проценты, Люба, я всё оформлю, мне некогда бегать в город, я же благотворительный обед тяну.

Я положила. Он оформил.

Теперь я лежала в чужом дворце за восемь тысяч километров от дома и в уме пробегала пальцем по строкам, которых не читала. Вот тут я подписала. И вот тут. Ручка была его, бумагу он подавал сверху, придерживая локтем, — я тогда смеялась, что у него почерк как у врача. Как у врача. Как у палача, теперь можно сказать честно, потому что наедине с самой собой я уже могла.

Под утро мне позвонила Рита из соседнего дома. Голос у неё был странный — виноватый и восторженный сразу, как у человека, который доносит, но стесняется.

— Люба, ты чего молчишь? Твой-то тебя прославил! По телевизору взяли, представляешь? Говорит: всё, что я делаю для людей, — на деньги моей семьи. Семьи, Люба. Красиво сказал.

— Это он про меня сказал? — спросила я тихо.

Рита замолчала, потом зашептала:

— Люба... ты же не серчай. Но ты же уехала. А он остался. Он нам с Верькой дров привёз, сам, машиной. Кто нас ещё так? — и, помолчав, совсем тихо: — А банк твой звонил. Вчера. Оставили номер. Сказали — срочно.

Я положила телефон на грудь и лежала, слушая, как где-то во дворе дворца мягко шумит вода. Фонтан. У меня во дворе была яблоня и ржавая колонка. Я закрыла глаза и вспомнила банк — я успела туда, ещё до самолёта, с пересадкой на сутки, примчалась с чемоданом, с этой дурацкой банкой варенья, которая ехала у меня сверху, потому что места в чемодане не было, всё съели документы.

Девушка за окошком была вежлива, как с покойником.

— По счёту ноль, — сказала она. — Снятие тридцатого. Сумма крупная, перевод на счёт вашего супруга... полномочия были оформлены нотариально. Тут всё чисто, извините.

— А гостиница?

— Предмет залога. Просрочка — два месяца. Следующий платёж через восемнадцать дней. — Она посмотрела на меня поверх очков. — Может, вам к юристу?

К юристу. К юристу я сходила, и юрист — дорогой, с золо-

тыми очками — развёл руками: подпись ваша, доверенность ваша, оспаривать можно, но это годы, Люба Петровна, годы и деньги. А денег нет. Всё, что было, — теперь на чужом счету и в чужом пиджаке, на котором блестит иностранный значок съезда «меценатов».

Помню, как я вышла от него на улицу, постояла. Моросило. Люди шли с зонтами, торопились, у всех были деньги — хоть какие-то, на кофе, на проездной, на зонт. А у меня из движимого имущества — чемодан, банка варенья и восемнадцать дней до того, как чужой банк заберёт мой дом.

И знаете, что я сделала? Я заплакала. Раз, один-единственный, стоя под козырьком, чтобы не видели. Пять минут. Я и горю дала срок — пять минут, как гостям на опоздание. Потом вытерла лицо платком, которым Толя вытирал руки в мастерской, — вот такой у меня был платок, всё честно, — и пошла смотреть контракт.

Контракт я нашла в тот же вечер, сидя на вокзальной скамейке с чаем из автомата. Переводчица, срочно, Марокко, полгода, проживание, питание. Инвестор хочет переговоры с подрядчиками, нужен русский носитель с опытом в гостиничном деле. Оплата — сумасшедшая по моим меркам. Я перечитала трижды, потом позвонила, потом получила билет на почту — и всё это за четыре часа, пока Толя, наверное, принимал в своей гостинице — моей гостинице — очередную партию благодарных людей с белым хлебом.

Марокко. Я и на карте не сразу нашла. Ну и ладно. Куда-то

же надо девать себя, раз меня девать больше некому.

А теперь я лежала в этом самом Марокко, в комнате размером с мою гостиницу целиком, и слышала, как в дверь коротко стукнули. Экономка — Зухра, сказала она, не поворачивая головы, когда я спросила имя, — поставила на столик поднос: лепёшка, ещё горячая, с хрустящей корочкой, стакан чая, от которого поднимался пар с запахом мяты, и маленькую пиалу мёда. Ничего не сказала. Посмотрела на меня — коротко, оценивающе, как портниха на новую фигуру, — и вышла.

Я отломила лепёшки. Ела и плакала — уже не от горя, не спрашивайте, почему так бывает, это просто правда: бывает. Лепёшка была солоноватая, чай сладкий, и что-то в этой комбинации было такое домашнее, что сердце у меня разжалось, как кулак.

За лепёшкой я решилась. Утром — к этому Халиду. Спросить прямо: что тебе надо, человек? Свидетель так не живёт. Должникам его — тем более не жильё, а счёт. Я собирала эту фразу всю ночь, отшлифовала, как дверную ручку.

И ровно в восемь утра, когда я вышла во двор с этой фразой за пазухой, мне её и выдал человек в белом — сам, без спроса. Халид стоял у фонтана и говорил по телефону — по-арабски, коротко, роняя слова, как камни в воду. Увидев меня, он оборвал разговор на полуслове.

— Ваш банк, — сказал он вместо доброго утра. — Я знаю про ваши восемнадцать дней. С сегодняшнего дня у вас их

нет. Есть срок: десять дней. За это время вы подготовите мне перевод документов по сделке с вашим мужем. Всех. С первой бумажки до последней подписи. Вы знаете его почерк, его привычки, его друзей. — Он помолчал и добавил ровно: — Вы — единственный человек, который видел, как он берёт чужие деньги и улыбается.

— А вы, — сказала я, — видели, как он ест чужой хлеб. Значит, вы мне не начальник. Вы мой... сообщник по несчастью?

Что-то дрогнуло у него в лице — не улыбка, нет, скорее трещинка, как по глазури. Он шагнул ближе, и от него пахло холодной водой и чем-то смолистым, дорогим, и я вдруг поняла, что сказать «сообщник» этому человеку было всё равно что дёрнуть тигра за хвост — из любопытства.

— Свидетель, — сказал он тихо. — Но я запомнил слово «сообщник». Иду завтракать. Зухра вам объяснит, где мой кабинет, когда я понадоблюсь.

Он не пошёл, а ушёл — сразу весь, целиком, как уходит гроза за горизонт: вроде стихло, а гудит.

Я стояла у фонтана, крошки лепёшки ещё были у меня на губах, и думала: восемнадцать дней он снял, как снимают пластырь. Мне стало легче и страшнее одновременно. Откуда он знает про мой банк? Кто ему сказал — Рита? Юрист? Или он знает вообще всё, что происходит со мной, с того самого утра, как я сошла с самолёта?

Банка с вареньем стояла у меня на подоконнике и смотре-

ла в сад вишнёвым стеклом. Я развернула её этикеткой к стене — не для доказательств. Просто чтобы было что-то моё. Единственное, что осталось.

Глава 4. Бумаги с чужой подписью

Зухра постучала в мою дверь ровно в восемь — два коротких, один длинный, как будто у неё был свой телеграфный код.

— Господин ждёт вас в кабинете, — сказала она. Голос сухой, как её ладони, но она сунула мне в руки стакан с чаем, и мята из стакана пахла так упрямо-домашне, что у меня защипало в носу. — Пейте. У него в кабинете свой чай подают, но это не чай. Это показуха.

Я выпила. Пошла.

Кабинет Халида оказался большой комнатой, где из мебели были только стол, два кресла и целая стена бумаг — папок, папок, папок с корешками вниз. Увидела я эти папки — и живота вдруг прихватило. Я такие стопки видела однажды: на кухне у Риты, когда Толя «оформлял ремонт».

— Садитесь, госпожа Кузнецова.

Я села. Он не сел — стоял у окна, спиной ко мне, и смотрел в сад на тот самый фонтан. И я, глупая, вдруг поймала себя на том, что разглядываю его затылок. Аккуратный, тёмный, без единой седой волосы. Сорок с чем-то человеку — а затылок как у студента. Ненавижу таких.

— Ваш муж, — сказал он, не оборачиваясь, — должен моему холдингу сумму, которую вы не сможете произнести вслух с первого раза. У вас займёт минут двадцать, чтобы её

посчитать.

— Попробуйте меня, — сказала я. — Я гостиницу на копейки подняла. Мне любые числа не страшны.

Он обернулся. Посмотрел на меня долго, как смотрят на весы, проверяя, не врут ли стрелки.

— Тогда посчитаем вслух. Ваша гостиница — заложена дважды. Первый залог — под видом ремонта. Второй — месяц назад, без вашего ведома, по подделанной доверенности. Ваш накопительный счёт — вычищен за четыре перевода, все четыре — «добровольные инвестиции в семейный проект». Который, если вы не знаете, называется «Пир для квартала».

Вот тут я встала. Не захотела — встали ноги, сами.

— Добровольные, — повторила я. — Четыре раза добровольные.

— Четыре раза, — кивнул он и — вот что странно — не отвернулся, не заскучал. Смотрел прямо, и в глазах у него было что-то похожее на интерес. — Четыре подписи. Я привёз образцы.

Он положил на стол четыре листа. Я наклонилась. Моя подпись — моя, до последнего росчерка, хвостатая «а», которую я с детства рисую с петлёй. Четыре раза.

— Но я не подписывала!

— Не подписывали. — Он сказал это так спокойно, что мне захотелось схватить стакан и выпить его пустым. — Подписи старые, снятые с других документов. Ваш муж умеет

это делать, госпожа. Он вообще много умеет. Два года он поставлял моим складам фальсифицированную отчётность, пока мои аудиторы не почуяли запах. Мошенник редкого вкуса: он ворует не тихо, а с оркестром. Чтобы аплодировали.

— Аплодировали, — сказала я. И вдруг засмеялась — коротко, некрасиво, как кашлянулась. — Да. Они аплодировали. Я стояла в этом зале. Он поднял бокал и сказал: всё это — на деньги моей жены. И они аплодировали, господин инвестор. Квартал, которому я пятнадцать лет носила деньги на лекарства, аплодировал тому, как меня обчистили.

Тишина. Слышно было, как в саду вода падает в фонтан. Потом Халид подошёл к столу, выдвинул кресло — не своё, второе — и сел. Впервые за всё время он сел рядом со мной, а не надомной.

— Вот теперь, — сказал он тихо, — я слышу свидетеля. До этого я слышал постоялицу, которая боитсяBehind Mond платить за воду.

— Я не боюсь платить. Я боюсь считать. Потому что когда начну считать, мне станет известно, что у меня нет даже похоронных, и тогда я заплачу прямо здесь, у вас на ковре, а ковёр у вас, небось, старше меня.

Что-то дёрнулось у него в углу рта. Не улыбка. Загон для улыбки.

— Ковёр действительно старше вас, — сказал он. — И плакать на нём разрешено только тем, кто ел у Зухры лепёш-

ки. Вы ели. Значит, право имеете.

Я смотрела на него, и внутри было тихо и скользко, как на льду. Этот человек за десять минут разложил всю мою жизнь по листам, как игральные карты, — и подвинул мне кресло. И то и другое пугало одинаково.

— Зачем вам это? — спросила я. — Мне. Зачем вам лично? У вас есть юристы, есть суды, есть, наверное, целые коридоры людей в одинаковых костюмах. Зачем вы привезли меня сюда?

Он помолчал. Пальцы его легли на те самые четыре листа и медленно, один за другим, перевернули их подписями вниз. Будто закрыл лица.

— Потому что иск, который я подам на вашего мужа, будет громким, — сказал он наконец. — А громкие дела затаптывают свидетелей. Первым делом его сторона объявит вас сообщницей — жена, подписи, общие счета. Вас вытопчут, госпожа, чтобы затоптать меня. Я не## этого. Вы будете жить под моим покрытием, пока идёт дело. Это не благодеяние. Это протекция.

— Клетка, значит, — сказала я.

— Протекция, — повторил он, и в голосе у него стало холодно и непререкаемо, как гранитная ступенька. — Вы не сможете выезжать из риада без сопровождения. Не сможете общаться с вашим мужем и его женщиной — ни письменно, ни устно. Не сможете давать никаких показаний, обещаний и подписей без моего юриста. И если вы нарушите хоть од-

но из этих правил — я не выпишу вам штрафа, госпожа. Я просто перестану вас защищать. Проверять не советую.

Вот он. Вот тот самый холод, которого я не поймала в прошлый раз, а сейчас поймала — как рукой под грудь. Человек напротив только что сказал, что без него мне конец, — и сказал это вежливо, как говорят «передайте соль».

— А если я захочу улететь домой и сдохнуть там в одиночку, по-человечески? — спросила я.

— Не позволю.

Всего два слова. Но сказаны были так, что спорить расхотелось. Не «уважаемая, подумайте», не «я вам оплачу билет» — не позволю. Как будто я была вещью в его папках, между аудиторией и складами.

Он встал — и я встала тоже, инстинктивно, как встают перед начальством. Он заметил это. И — я видела — ему не понравилось, что я встала.

— Сидите, когда разговариваете со мной сидя, — сказал он. — И вот ещё что. — Он открыл ящик стола, достал тонкий конверт и положил передо мной. — Ваше жалованье за первый месяц. Переводчикам моего холдинга платят вперёд. Вы теперь оформлены. С сегодняшнего дня.

Я открыла конверт уже у двери — не выдержала. Внутри была сумма, от которой у меня бы занять двадцать минут даже у того богатого квартала. Месяц работы переводчицей — а там, между строк, мелким шрифтом, значилось: «аванс компенсации за моральный ущерб, часть первая».

Часть первая. Значит, были части вторая, третья, десятая. Он собирался платить мне долго. Из денег, которые отсудит у Толи.

Я вышла в коридор, села прямо на ступеньку у окна — ноги сами. Конверт лежал на коленях и был тёплым, как живой.

— Ну что, Люба, — сказала я себе вслух. — В клетке. Но с жалованьем.

Из-за угла пахнуло мятой и печёным. Зухра шла ко мне с подносом — на подносном полотенце лежали две лепёшки и варёное яйцо, блестящее, как начищенный самовар.

— Он вам_conditions дал? — спросила Зухра.

— Клетку, — сказала я. — С золотыми прутьями и зарплатой.

Зухра посмотрела на меня долгим взглядом из-под сухих бровей. Потом положила поднос мне на колени, поверх конверта.

— У нас, — сказала она, — в этой клетке никто не работал на голодный желудок. Ешьте. А про прутья поговорим, когда отрастут силы.

Я отломила кусок лепёшки. Он был тёплый, с солью, настоящий. И где-то там, за морем, Толя сейчас, наверное, поднимал очередной бокал, а я сидела на чужой ступеньке, ела чужой хлеб — и впервые за месяц этот хлеб не был моим.

Хлеб был мой. Потому что я его заработала.

А в кабинете за спиной четыре листа лежали подписями вниз, и человек, который их перевернул, знал про мою под-

пись что-то ещё. Что-то, чего не сказал.

И я знала это по тому, как он опустил глаза.

Глава 5. Условия золотой клетки

Ночь я прожила в западном крыле так, как живут на чужой квартире первые сутки: не трогаю ничего, сижу на своей кровати, свои вещи в сумке. Утром принесли кофе — густой, с кардамоном, в стакане золотого цвета. И вместе с кофе — записку, сложенную вдвое, почерк твёрдый, с нажимом:

«В девять — кабинет. Принесите все документы, что есть у вас от мужа. Всё. Халид ибн Рашид».

Слово «всё» было подчёркнуто так, что бумага почти порвалась.

В девять я стояла у его двери с папкой, обёрнутой в кухонное полотенце, — других сумок у меня после войны с банком не осталось. Снаружи, за аркой, шумел Марракеш — кричали торговцы, звенели колокольчики повозок, пахло апельсинами и пылью. А здесь, в коридоре, было прохладно, тихо и похоже на ловушку с очень красивой отделкой.

— Войдите.

Он сидел за столом без бумаг. Чистый стол, чистые руки, часы — одни, без блеска. Халид не предложил мне сесть. Он просто посмотрел на папку, потом на меня — и я вдруг почувствовала себя честной девочкой, которую вызвали к директору, хотя я была старше него, наверное, на десять лет.

— Откройте.

Я развернула полотенце, разложила документы: свиде-

тельство о браке, доверенности, те самые листы, что я подписывала «на ремонт». И договор поручительства — я нашла его в банке ещё в Москве, со второго раза, со скандалом.

Халид брал листы по одному. Читал быстро, но не по-настоящему — он не искал цифры. Он искал что-то другое. На третьей странице он остановился и провёл пальцем по строке — так, что я увидела: дата.

— Вы подписали это четырнадцатого числа, — сказал он. — А деньги со счетов ушли шестнадцатого. Куда вы поехали четырнадцатого вечером?

Я моргнула.

— В ресторан. Толя позвал — сказал, празднует контракт. Ужин, свечи... Он сам заказал мне такси, сам выбрал ресторан. После ужина положил передо мной бумаги — «формальности по ремонту, тут и читать нечего, я всё проверил». А рядом — десерт и моя любимая скидка на счёт. Я была... довольна. Сырая, наивная.

Халид откинулся на спинку кресла. И я увидела то, чего не должна была увидеть: ему это было нужно. Не цифры — вот это. Моё лицо в тот вечер, ресторан, свечи. Он слушал, как хирург слушает сердце, — и искал ритм, по которому бьётся мой обман.

— Ипотека на гостиницу, — сказал он ровно. — Кто был поручителем?

— Я сама. Толя сказал, что «так быстрее одобрят, банк любит семьи».

— Банк не любит семьи, — сказал Халид. — Банк любит людей, которые не читают. Ваш муж подписал с моим фондом три договора. Он брал деньги под поставки, которых не было, и под строительство, которое_existирует только в его презентациях. Четыреста тысяч долларов. Я выжидал — думал, он вернёт. Потом перестал ждать.

Он положил перед собой руки. Спокойно, ладонями вниз — но я почему-то подумала, что этими руками можно закрывать двери, за которыми людям становится очень плохо.

— Теперь о вас, госпожа Кузнецова. У вас есть выбор, и я не притворяюсь, что выбора нет. Первый: вы уезжаете, даёте показания по видеосвязи и ждёте, пока суд за ваш счёт — а он будет за ваш счёт, поручительство — решит вашу судьбу. Второй: вы остаётесь здесь как свидетель. Я плачу вам жалованье — вы его заработали, у вас честная профессия. Я обеспечиваю защиту — потому что мо юристы подтверждают: часть денег ваш муж провёл через компании, оформленные на вас. То есть сейчас, юридически, должница — вы.

Пол стала чуть неровной под ногами. Меня качнуло — не сильно, но я ухватилась за спинку стула.

— То есть все эти недели... — я сглотнула. — Все эти письма из банка, все эти «уважаемая Люба Сергеевна»...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.